

МЕРТВЕНЬКИЙ

Жила в одной деревне женщина, Варварой ее звали, которую все считали дурочкой блаженной. Нелюдимою и некрасивою она была, и никто даже не знал, сколько ей лет, — кожа вроде бы без морщин, гладкая, а вот взгляд такой, словно все на свете уже давно бабе опостылело. Впрочем, Варвара редко фокусировала его на чем-нибудь лице — она была слишком замкнутой, чтобы общаться даже глазами. Самым странным оказалось то, что никто не помнил, как она в деревне появилась.

После войны перепуталось всё, многие уехали, чужаки, наоборот, приходили, некоторые оставались насовсем. Наверное, и эта женщина была из числа таких странников в поисках лучшей участи. Она заняла самый крайний из пустовавших домов, у леса, совсем ветхий и маленький, и за десяток-другой лет довела его до состояния полного запустения. Иногда сердобольный сосед чинил ей крышу, а потом бубнил в прокуренные усы: никакой, мол, благодарности, у нее дождевая вода с потолка в подставленный таз барабанила, я все сделал, стало сухо, а эта Варвара мало того, что «спасибо» не сказала, так даже и не глянула в лицо.

Никто не знал, на что она живет, чем питается. Она всегда ходила в одном и том же платье из дерюжки,

подол которого отяжелел от засохшей грязи. В одном и том же — но пахло от нее не густым мускусом человеческих выделений, которые не смывают с кожи, а подполом и плесенью.

И вот однажды, в начале шестидесятых, один из местных парней, перебрав водки, вломился к ней в дом — то ли его подначил кто-то, то ли желание абстрактной женственности было таким сильным, что объект уже не имел значения. Майская ночь тогда стояла тихая, ясная, полнолунная, с густыми ароматами распутившихся трав и проснувшимися сверчками — а до того всем селом отмечали Победу, играл гармонист, пахло пирогами, пили-ели-гуляли. Парня звали Федором, и шел ему двадцать пятый год.

Вломился он в дом Варвары, и уже сразу, в сенях, как-то не по себе ему стало. В доме был странный запах — пустоты и тлена. Даже у деревенского алкоголика дяди Сережи в жилище пахло совсем не так, хоть и пропил он душу еще в те времена, когда Федор младенцем был. У дяди Сережи пахло теплой печью, крепким потом, невымытыми ногами, скисшим молоком, сгнившей половой тряпкой — это было отвратительно, и все же в какофонии зловонных ароматов чувствовалась пусть почти деградировавшая в существование, но все-таки еще жизнь. А у Варвары пахло так, словно в дом ее не заходили десятилетиями, — сырým подвалом, пыльными занавесками и плесенью. Федору вдруг захотелось развернуться и броситься наутек, но как-то он себя уговорил, что это «не по-мужски». И двинулся вперед — на ощупь, потому что в доме мрак царил — окна были занавешены от лунного света каким-то тряпьем.

Ткнулся выставленными вперед руками в какую-то дверь — та поддавалась и с тихим скрипом отво-

рилась. Федор осторожно ступил внутрь, несильно ударившись головой о перекладину, — Варвара была ростом невелика, и двери в доме — ей под стать. Из-за темноты Федор быстро потерял ориентацию в пространстве, но вдруг кто-то осторожно зашевелился в углу, и животный ужас, какой на большинство людей наводит тьма в сочетании с незнакомым местом, вдруг разбудил в парне воина и варвара. С коротким криком Федор бросился вперед.

— Уходи, — раздался голос Варвары, тихий и глухой, и Федор мог поклясться, что слышит его впервые.

Многие вообще были уверены, что чудачка из крайнего дома онемела еще в военные годы, да так и не пришла в себя.

Она протянула руку к окну, отдернула занавесь, и Федор наконец увидел ее — в синеватом свете луны ее спокойное уродливое лицо казалось мертвым.

— Вот еще! — Он старался, чтобы голос звучал бодро, но из-за волнения, что называется, «дал петуха», и, сам на себя за это раздосадовав, излил злобу на Варвару, ткнув кулаком в ее безжизненное лицо. — Давай, давай... я быстро.

Она не сопротивлялась, и это спокойствие придало ему сил. «Наверное, сама об этом мечтает, рада до смерти и не верит счастью своему, — подумал он. — Мужика-то, поди, уже лет двадцать у нее не было, если не больше».

Варвара вся была окутана каким-то тряпьем, точно саваном. Федор вроде бы расстегнул верхнюю кофту, шерстяную, но под ней оказалась какая-то хламида, а еще глубже — что-то, похоже, нейлоновое, скользкое и прохладное на ощупь. В конце концов, разозлившись, он рванул тряпки, и те трес-

нули и едва не рассыпались в прах в его ладонях. Варвара же лежала все так же молча, вытянув руки по швам, как покойница, которую готовили к омовению. Глаза ее были открыты, и краешком сознания Федор вдруг отметил, что они не блестят. Матовые глаза, как у куклы

Но в крови уже кипела вулканическая лава, желающая излиться, освободив его от огня, и ему было почти все равно, кто отопрет жерло — теплая ли женщина, послушавленный ли кулак или эта серая кукла.

Грудь Варвары была похожа на пустые холщовые мешочки, в которых мать Федора хранила орехи, собранные им в лесу. Не было в ее груди ни полноты, ни молочной мягкости, а соски напоминали древесные грибы, шероховатые и темные, прикоснуться к ним не хотелось.

В тот момент сознание Федора словно раздвоилось: одна часть не понимала, как можно желать это увядшее восковое тело — страшно же, противно же, а другая, как будто околдованная, лишь подчинялась слепой воле, порыву и страсти. Коленом он раздвинул Варварины бедра — такие же прохладные и сероватые, будто восковые, и одним рывком вошел в нее — и той части сознания Федора, которой было страшно и противно, показалось, что плоть его входит не в женщину, а в крынку с холодной ряженкой. Внутри у Варвары было рыхло, холодно и влажно.

И вот, излив в нее семя, Федор ушел, по пути запутавшись в штанах. Он чувствовал себя так, словно весь день пахал на вырубке леса, но списал эту слабость и головокружение на водку. Прибрел домой и, не раздеваясь, завалился спать.

Всю ночь его мучили кошмары. Снилось, что он идет по деревенскому кладбищу, между могил, а со всех сторон к нему тянутся перепачканные землей руки. Пытаются за штанину ухватить, и пальцы у них ледяные и твердые. В ушах у него стоял гул — лишенные сока жизни голоса умоляли: «И ко мне... И ко мне... Пожалуйста... И ко мне...»

Вот на дорожке пред ним появилась девушка — она стояла, повернувшись спиной, хрупкая, невысокая, длинные пшеничные волосы раскиданы по плечам. На ней было свадебное платье. Федор устремился к ней как к богине-спасительнице, но вот она медленно обернулась, и стало ясно — тоже мертва. Бледное лицо зеленоватыми пятнами пошло, некогда пухлая верхняя губа наполовину отгнила, обнажив зубы, в глазах не было блеска.

— Ко мне... ко мне... — глухо твердила она. — Подойди... Меня нарочно хоронили в свадебном... Я тебя ждала...

Проснулся Федор от того, что мать плеснула ему в лицо ледяной воды из ковшика:

— Совсем ополоумел, пьянь! Упился до чертей и орал всю ночь, как будто у меня нервы железные!

Прошло несколько недель. Первое время Федор никак не мог отделаться от ощущения тоски, словно бы распростершей над ним тяжелые крылья, заслоняя солнечный свет. Пропали аппетит, желание смеяться, работать, дышать. Но постепенно он как-то оправился, пришел в себя, снова начал просить у матери утренние оладьи, поглядывать на самую красивую девицу деревни, Юленьку, с длинными толстыми косами и чертями в глазах.

С Варварой он старался не встречаться, впрочем, это было нетрудно — она редко покидала свои

дом и палисадник, а если и выходила на деревенскую улицу, то жалась к обочине и смотрела на собственные пыльные калоши, а не на встречаемых людей.

Постепенно странная ночь испарилась из памяти — и Федор даже не вполне был уверен в ее реальности. Его сознание какой-то снежный ком слепило из реальных фактов и воследовавших ночных кошмаров, уже и не понять: что правда, а что — страшный образ, сфабрикованный внутренним мраком.

Наступила зима.

Зимними вечерами Федор обычно столярничал — ремеслу обучил его отец, у обоих были золотые руки. Со всех окрестностей обращались: кому стол обеденный сколотить, кому забор поправить, кому и террасу к дому пристроить.

И вот в конце ноября однажды случилось странное — в дверь постучали, настойчиво, как если бы речь шла о срочном деле, а когда Федор открыл — на улице никого не было. Человека, потревожившего вечерний покой семьи, словно растворило ледяное плюющееся мокрым снегом пространство. Только на половице, придавленный мокрым камнем, белел конверт.

Оглянувшись по сторонам, Федор поднял его, заглянул внутрь и удивился еще больше — внутри были деньги. Не миллионы, но солидная сумма — столько бы он запросил как раз за строительство летней терраски. Для реалий деревни это было нечто из ряда вон — соседи, конечно, не голодали, но и откладывать деньги было не с чего, а за работу все предпочитали платить в рассрочку. Вместе с купюрами из конверта выпала записка. «Я прошу вас сделать гроб,

длина — 1 метр, материал — дуб или сосна. Деньги возьмите сразу, а за готовой работой я приеду при первой возможности».

Не из пугливых был Федор и уж точно не из суеверных, но что-то внутри него похолодело, когда дочитал. Длина — 1 метр. Выходит, гроб-то — детский. Почему за него готовы столько заплатить? Если бы заказчик спросил у него цену, Федор назвал бы сумму, раз в двадцать меньшую, и то не считал бы себя обиженным. Почему выбрали столь странный способ сделать заказ? Такое горе, что от лиц чужих мутит? Но получается, ему даже выбора не оставили — деньги-то кому возвращать? Можно, конечно, так и держать их в конвертике, а когда заказчик явится, с порога сунуть ему обратно. С другой стороны... А если там ребенок при смерти. И вот человек придет, а ничего не готово. В полотенце его хоронить, что ли?

Тяжело было на душе у Федора, но все же работу он выполнил. За два вечера управился. Самые лучшие доски взял, старался так, словно ларец для императорских драгоценностей делал. Даже резьбой украсил крышку — делать-то все равно зимними вечерами нечего.

Прошла неделя, другая, а потом и третья началась, но за работой так никто и не пришел. Маленький гроб стоял в и без того тесных сенях и действовал всем на нервы. Проходя мимо него, отец Федора мрачно говорил: «Етить...», а мать, однажды о него споткнувшись, машинально ударила деревяшку ногой, а потом опомнилась, села на приступок и коротко всплакнула.

И вот уже под Новый год как-то выдался вечер, когда Федор остался дома совсем один. Родители

и маленькая сестренка уехали в соседний поселок навестить родственников, там и собирались переночевать.

Вечер выдался темный и вьюжный — за плотной шалью снегопада ни земли, ни неба не разглядеть.

И вдруг в дверь постучали — тот же настойчивый торопливый стук, Федор сразу его признал, и сердце парня ухнуло — как будто с бесконечной ледяной горки.

Осторожно подойдя к двери, он спросил — кто, однако ему не ответили. Зачем-то перекрестившись, он отпер дверь — на крыльце стояла невысокая женщина, укутанная в телогрейку и большой шерстяной платок. Федор даже не сразу признал в ней Варвару — а когда разглядел ее лишенное эмоций серое лицо, отшатнулся.

— Что тебе надо? Зачем приперлась? — В нарочитой грубости он пытался черпать силы.

— Так пора, — глухо ответила она и мимо него прошла внутрь. — Я думала, еще несколько недель носить, но сейчас вижу, что нет. Пора.

— Что ты мелешь-то, дурища? Ступай откудава приперлась.

И тогда Варвара подняла на него лицо. Федор отступил на несколько шагов, взгляд его беспомощно заметался по сеням, пока не уткнулся в маленький топорик, которым они с отцом рубили щепки для растопки печи. «Бред какой-то... Не буду же я на нее, бабу слабую, с топором... Я же ее пальцем перешибить могу, что она мне сделает-то, убогая...» А женщина просто спокойно смотрела на него, и ее глаза были похожи на подернутые льдом лужи. Такие же тусклые и кукольные, как той ночью, которую он все эти месяцы пытался забыть.

Барвара усмехнулась — все так же без эмоций:

— Что же ты, Федя? Думал, поразвлечешься, а отвечать не придется? Неси воду и тряпки, рожаю я.

— Какого хрена... — И тут только разглядел под ее распахнутой телогрейкой огромный круглый живот.

— С минуты на минуту начнется, что же ты медлишь?

Она вовсе не была похожа на женщину, которую волнует появление первенца. Бескровное спокойное лицо, обветренные губы, ровный тихий голос:

— К тому же, заплатила я. Все по-честному. Сделал, что я просила? Успел?

Федор даже не сразу понял, о чем это она, а когда понял, вдруг почувствовал себя маленьким и беззащитным. Как в те годы, когда отец пугал его лешим и банником, а Федя потом всю ночь пытался успокоить дыхание — ему все мерещились шорохи и переестуки, какая-то иная, скрытая от взрослых жизнь, которая начинается в доме, когда все отходят ко сну. Хотелось броситься к матери, вдохнуть ее успокаивающее тепло, но мешал стыд.

— Зачем же тебе... гроб? — последнее слово он почти шепотом выдохнул в лицо Варвары.

— Ну как же, — усмехнулась она. — Где-то ведь ему надо спать. Мертвенький ведь родится, — и погладила себя по тугому животу.

Федора замутило.

— Воду ставь, — скомандовала Барвара. — И тряпки тащи. Начинается.

Как во сне он дошел до печи, взял чайник, потом залез в сундук матери, нашел какие-то старые простыни. Все происходящее казалось ему дурацким розыгрышем. Он не мог поверить, что деревенская дурочка и правда собирается родить в его сенях,

что ему придется принимать в этом участие. И эти чертовы деньги, и этот гроб. «Мертвенький ведь родится...»

Когда Федор вернулся в сени, Варвара уже лежала на полу, задрав юбки и раскинув в стороны бескровные ноги, спина ее выгнулась дугой, как будто женщина получила удар молнии, однако лицо по-прежнему не выражало ни страха, ни боли, ни предвкушения.

Сестренка Федора тоже дома родилась — схватки начались внезапно, тоже была зима, они не успели бы доехать до сельской больницы. Он помнил раскрасневшееся потное лицо матери, ее утробный крик, больше похожий на звериное рычание, помнил, как разметались по подушке ее слипшиеся от пота волосы, и какой запах стоял в комнате — горячий, густой, нутряной, и как ему тоже было не по себе — но то был другой страх, страх присутствия некой вечной закономерности.

Мать просила то попить, то приложить к ее лбу пригоршню снега, то открыть форточку, то закрыть. А потом он услышал сдавленный плач сестренки, и они с отцом выпили по рюмочке, ликуя, и мать выглядела такой счастливой, несмотря на то, что все одеяла были пропитаны ее кровью.

Варвара же молча, сцепив зубы, производила на свет новую жизнь, она работала бедрами и спиной — ловко, как змея, и сени тоже заполнил посторонний запах — торфяного болота, перегноя, влажных древесных корней, дождевых червяков.

Вдруг из нее хлынуло, как будто бы кран открылся, — воды отошли, зеленовато-коричневые, как застоявшийся пруд. Федору пришлось отпрыгнуть — зловонной жидкости было так много, что весь пол

в сенях залило. Он даже не сразу заметил, что в этой жиже выбралось из ее чрева на свет крошечное существо, младенец, такой же серый и безжизненный, как его мать.

Варвара села, тыльной стороной ладони отерла лоб, подняла младенца с пола — тот вяло шевелил руками. Его глаза были открыты и словно подернуты белесой пленкой. Федор отвел взгляд — смотреть на ребенка было отчего-то неприятно, что-то в нем было не то. Он даже не закричал, но уже вертел головой, явно пытаясь осмотреться.

— Что стоишь, — мрачно позвала Варвара. — Тебе надо пуповину перерезать. Али книг не читал.

— Я не умею, — почти теряя сознание от усталости и отвращения, промямлил Федор.

— Да что тут уметь. Вон же топорик стоит — им и переруби.

— Что ты несешь, разве ж можно так, топором? Я сейчас бабу Алексею позову, — вдруг пришла ему в голову спасительная мысль. — Только сбегаю за ней. Она умеет это дело.

— Никого не надо звать, — остановила его Варвара. — Сам виноват, сам и отвечать будешь. Тащи топор... Я тебя научу. И гроб неси. Он уже спать хочет, видишь?

— Варвара, да зачем ему гроб, что же ты говоришь такое страшное? — не выдержал Федор. — Где же это видано, чтоб ребенок в гробу спал? Ты говорила — мертвенький родится, а он вот — шевелится.

— Так и я мертвенькая. — Серые губы растянулись, но это не было похоже на улыбку. — Али сам не понял?.. Гроб неси. И самому тебе отдохнуть надо. А то ведь он скоро проголодается. Вот проснёшься, и я научу тебя, как мертвеньких кормить.

Последним, что увидел Федор, перед тем, как его накрыло бархатным крылом темноты, был старенький, в разветвляющихся трещинках, потолок.

Когда следующим утром родители и сестра вернулись, тело парня уже остыло, но распахнутые глаза сохранили выражение недоверчивой тоски. Что с ним произошло, так никто и не понял, но весь пол сеной был залит густой болотной водой, которую отец Федора и за день вычерпать не смог.

А когда вычерпал досуха, все равно остался запах — тлена, плесени и гнили, — остался на долгие годы, иногда многообещающе утихая, но неизбежно возвращаясь к началу каждой зимы.

Варвару же в той деревне больше никогда не видели — но еще много лет сплетничали, якобы из ее опустевшего дома иногда доносится глухой и монотонный младенческий плач.

ИЛЛЮЗИЯ

В детстве мне часто снилось, что я — рыжая женщина по имени Елена, у меня есть муж, темноволосый и сутулый научный сотрудник, от свитера которого всегда пахнет табаком, дочь, которая мечтает стать астрономом, и кот, у которого сахарный диабет.

Еще была квартира — захламленная, но по-своему уютная, с пыльным хрусталем в серванте, тюлем на окнах, фиалками в разноцветных горшках и крошечным балконом — там мы хранили лыжи и дочкин велосипед.

Мне снилось, что я была бедна и не очень счастлива. Дочь казалась мне непутевой, потому что училась на тройки; когда муж прикасался к моему плечу в темноте, меня брезгливо передергивало, а однажды наш кот упал с балкона и пропал, и три последующих дня я надеялась, что это навсегда, а потом мне было стыдно за эти мысли. Кот вернулся и смотрел на меня так, как будто он все понимает.

Такой вот странный сон, часто повторяющийся. Ведь на самом деле я был мальчиком и в свои двенадцать лет ходил в лучшую языковую школу района, жил с родителями, которые все еще как минимум дважды в неделю запирали спальню на ключ изнутри,

а потом, уже утром, мама жарила оладьи и фальшиво напевала «Призрак оперы», а папа задумчиво рассматривал ее обтянутый коротким махровым халатом зад. И никаких котов у нас не было никогда — только собаки. В самом раннем детстве — пудель Максим Иванович — я почти его не помнил, потом — лабрадор Будда.

По причинам очевидным я стеснялся рассказывать об этом сне родителям. Мне казалось — не поймут, будут переглядываться, смеясь. Папа скажет что-то вроде: «Не знаю, что более печально — и в самом деле быть странным или отчаянно хотеть казаться таковым. “Я не такой, как все, и мне снятся странные сны!”» А мама в шутку ударит его свернутым кухонным полотенцем, а мне скажет: «Не слушай этого дурака!», хотя в глубине души будет с ним согласна, потому что они — пресловутая «одна сатана», а я — «непонятно, в кого такой уродился». Это в лучшем случае. А в худшем — всполошатся и потащат на прием к сексопатологу. Мои двенадцать лет пришлось на середину девяностых — очередная волна сексуальной революции как раз неторопливо докатилась до России, и почти в каждом ток-шоу работал штатный эксперт-сексопатолог — подозреваю, вылупившийся из лузеров от психиатрии. Я представлял, как моя мама приходит к одному из таких, комкая в нервных пальцах носовой платок, и стесняясь начинает: «Моему сыну-подростку снится, что он — женщина по имени Елена...», а сексопатолог поправляет на носу очки с не предвещающим ничего хорошего «м-да».

Я рос, и сюжет повторяющегося сна постепенно обрстал подробностями. Как будто бы мое подсознание было сумасшедшим средневековым сказочни-

ком, который стоит на смрадной площади и за два пенса придумает кому угодно мрачный сюжетец.

Я засыпал и видел, как научный сотрудник в прокуренном свитере говорит мне в лицо, что ему все надоело и что в его лаборатории есть какая-то Светочка, ненамного старше нашей с ним дочери, которая приносит ему домашние пирожки с яйцом и, пока он ест, сидит напротив и смотрит на него, как на бога.

Мне снилось, что моя дочь, которая когда-то мечтала стать астрономом, связалась с дворовой шпаной, сделала химическую завивку, начала курить и говорить, томно растягивая гласные, — слушаешь и убить хочется. Мне снилось, что у меня варикоз и морщина на лбу, которую я маскирую челкой, и что подруги приходят ко мне только за тем, чтобы убедиться, что их жизнь намного счастливее моей, и я это прекрасно понимаю, но зачем-то продолжаю их звать.

На самом деле мне уже исполнилось восемнадцать, я с первой попытки поступил в университет, у меня появились новые друзья, с которыми почти каждый вечер мы собирались на чьей-нибудь кухне, пили чай с вареньем и дешевый портвейн и были полностью уверены, что наше поколение — и есть настоящие первооткрыватели, а все, кто жили до, просто готовили базу для наших смелых мыслей и неожиданных выводов.

Да, мне было восемнадцать, и я открыл для себя секс, что оказалось ярче каких-то там безнадежных снов. У меня появилась девушка с колечком в носу и дурными манерами. Что может быть привлекательнее дурных манер — когда тебе всего восемнадцать. Девушку звали Жанна, и я ее, вроде бы, любил.